

Юбилей раздражает и радует одновременно. Раздражает – ибо это почти всегда триумф дурного вкуса, речи государственных чиновников, всяк по-своему стремящихся приватизировать юбиляра, и неизбежное препариование несчастного художника в духе времени – так, Пушкин побывал у нас и царем-борцом, и царедворцем, и декабристом, и государственным, и атеистом, и только что не монахом... Юбилей – это принудительные мероприятия, просветительские телепрограммы, нарочито сниженный по интонации фильм Леонида Парфенова о быте гения (словно из этого быта только и состояла его жизнь), торжественное собрание родственников и потомков, государственный привет им – от первого или второго лица... Весь этот многонедельный елейный марафон ничего, кроме скуловоротной скуки и понятной безразличности, вызвать

не способен. Но с другой стороны, всякий большой литературный юбилей – это и еще одна возможность опубликовать тексты с выверенным комментарием, и хороший симпозиум со спорами и литературными вечерами (как Волгин устроил в подарок Достоевскому), и возможность опубликовать в газете серьезный литературный материал, столь редкий ныне. Все опасаемся, как бы не перегрузить дорогого читателя, как бы он не отверг нас и не купил вместо нашего издания очередной «Экспресс-садизм»! Главное же – мы так полюбили юбилей не только потому, что наше прошлое остается нашим единственным достоянием (что тоже верно), но и потому, что в самом обращении к великим именам есть некий источник силы. Той «скрытой теплоты патриотизма», без которой нация существовать не может вообще.

Вет. кл. – 2003 – 4 сентябрь – с. 25

ПИСАТЕЛЯ ДОЛЖНЫ БОЯТЬСЯ

Дмитрий БЫКОВ

ОБРАЩЕНИЕ К ИМЕНИ И ОПЫТУ ТОЛСТОГО в наши нынешние времена – даже по такому «полукруглому», в общем, поводу, как 175-летний юбилей (9 сентября), – в любом случае плодотворно. И потому, что память о нем наполняет гордостью любого носителя языка, – и потому, что воспоминание о его духовном подвиге одаривает нас жгучим стыдом. И еще неизвестно, какой дар важнее. Может, даже и полукруглая дата напомнит отечественному литературоведению о том, до какой степени Толстому до сих пор не везет с серьезным исследователем. Филология наша, едва выбравшись из-под гнета марксистского, угодила под гнет структуралистский, превратилась в подобие унылого литературного фрейдиизма, только и озабоченного выявлением внебрачных интертекстуальных связей. Герменевтический, семиотический, статистический подход к Толстому ничем не лучше ленинского, при котором от классика остается только зеркало русской революции. Толстой-философ, по большому счету, не лучше интерпретирован, чем Толстой-художник: отечественная литература тут может похвастаться только замечательной работой Шестова «Добро в учении гр. Толстого и Ницше» и бунинским «Освобождением Толстого», написанным все-таки больше о себе, нежели о нем. Все прочие интерпретации на сегодняшний вкус либо слишком привязаны к своему времени, либо слишком субъективны, либо огульны (особенно если церковны).

Интерпретировать Толстого в идеале должен художник и мыслитель, не то чтобы ему равный, но по крайности с ним соотносимый; последней по-настоящему полной и удачной работой было жизнеописание работы Шкловского, но ему скоро сорок лет. В той же серии ЖЗЛ должна была выйти книга Алексея Зверева о Толстом – но замечательный филолог умер, не окончив труда. Возможно, его завершат наследники. Особенности толстовской веры, ее генетическая связь с буддизмом и в особенности с иудаизмом, происхождение его противоречивого и, смеем сказать, абсурдного учения об эстетике, его сверхъестественный ум и гениальная непоследовательность – все это темы неохватные и великие, еще, почитай, непаханные; а без Толстого нам из нашего тупика не выбраться. Хотя бы потому, что на рубеже веков, в эпоху всемирного кризиса религиозного сознания, по-настоящему великий писатель у нас был один: прозрения Розанова, Флоренского, Булгакова, Ильина. Степуна были бы нелепы без толстовской всепоглощающей критики. Кризис этот Россией и до сих пор не преодолен; как точно заметил Аверинцев – ни один из ответов двадцатого века на вопросы девятнадцатого нельзя признать удовлетворительным, а потому и вопросы не сняты.

ТОЛСТОЙ – ЕДИНСТВЕННЫЙ СРЕДИ СОВРЕМЕННИКОВ – умел называть вещи своими именами. Этому сегодня надо учиться у него прежде всего. Пелевин в последнем романе абсолютно точно характеризует наше общество как странную среду, в которой всем все ясно, но ничего нельзя сказать прямо. Толстого на нас нет. Нет человека, который тяжелым молотом ударил бы по квазинаучной, квазилиберальной и квазипатриотической терминологии и открытым текстом сказал, что семьдесят лет советской истории были эпохой насильственного и мучительного движения к прогрессу, а пятнадцать лет истории постсоветской стали эпохой добровольного и радостного регресса под маской свободы.

Но если усвоение этической и эстетической программы Толстого требует долгого труда, изучения источников и профессиональной подготовки, – то по крайней мере один его личный урок, урок поведения художника в гнилые времена, может быть учтен без всяких интеллектуальных усилий.

Для современников Толстого общим местом был тот факт, что в России два царя, и непонятно еще, кто из них могущественнее. Николай II ниче-

го не мог сделать с толстовским авторитетом, тогда как Толстой легко колебал трон Николая. И дело не в том, что у Толстого уже был авторитет гениального художника, автора «Войны и мира»: далеко не все русское общество, темное внизу, ленивое вверху, читало Толстого с должным вниманием. Моральный авторитет был добыт ценой отважной, бескомпромиссной борьбы: Толстой ни дня не приспособился к реальности – он предъявлял ей жестокий счет, и одно это было каждодневным напоминанием о сотнях бессмысленных мерзостей. Может быть, толстовская критика была чересчур радикальной; может быть, именно этот радикализм, нарушение всех конвенций, срывание всех и всяческих масок – и привели в конечном итоге к тому, что в России стало ВСЕ МОЖНО; может быть, не Лев Толстой был зеркалом русской революции, а сама эта революция, гигантское, истинно толстовское упрощение жизни, была зеркалом Льва Толстого и уж во всяком случае продолжением его художественного метода. Можно уйти из ненавистного дома, – но тогда умрешь на станции; можно до основания разрушить ненавистную страну с ее избыточной роскошью, крестьянской нищетой и ненужными условностями, – но тогда очнешься в лагере. Но сам факт толстовского присутствия в России напоминал стране о статусе художника – о великом нравственном судье, которого надо бояться, на которого нельзя не оглядываться. Писателя должны бояться. Толстой доказал, что и один в поле воин – спасающий зачасную честь всего поля.

СЕГОДНЯШНИЙ ХУДОЖНИК благодарит власть и бизнес за то, что ему ПОЗВОЛИЛИ БЫТЬ. Спасибо.

Он развлекает идиотов и потешает домохозяек, потакает самым низменным вкусам и угождает западным славистам, стремясь выбить грант или получить лекционный курс, – но ни один из признанных русских художников не возвышает голоса против того, что творится вокруг, и не решается безжалостным толстовским взглядом окинуть нынешнюю русскую действительность. Может быть, потому, что под этим толстовским взглядом и сами эти художники обнаружили бы полное свое ничтожество. Отдельные бесстрашные обличители протестуют против чеченской войны – не замечая того, что требуют на самом деле позорной капитуляции и фактического уничтожения России; другие в патриотическом угаре требуют, патриотизма ради, выморить в России всех честных и талантливых людей, дабы никто не смущал народа... Никто не отваживается сломать рамки устоявшихся парадигм и решительно, с толстовской мощью упразднить противостояния, в которых противоборствующие стороны давно уравнились по части лживости и мерзости. Толстой во многом пошел дальше русской революции – ибо вскрыл антагонизмы куда более страшные, чем конфликт богатых и бедных, русских и инородцев, архайстов и новаторов; может, и революция-то в России случилась

потому, что без Толстого все совсем уж безнадежно запуталось. «Вот увидите, умрет Толстой – и все пойдет к черту!» – говорил Чехов; так с тех пор и идет.

Что делать, чтобы стать Толстым? Ответ «родиться гением», конечно, ничего не объясняет. Да и не нужно тут художественной гениальности. Для начала вполне достаточно отказаться от навязанных истин и назвать по имени то, что видишь вокруг. А там и талант прорежется – ведь именно в описанном образе действий и заключается толстовский метод. Метод этот, в отличие от художественной гениальности, доступен всем. И от души рекомендуется всем, кому надоело нынешнее положение дел. ■

